

Дядя Паша дотянулся до рефлектора, нашарил рукой скользкий проводок, включил штепсель в розетку. Рефлектор щелкнул, загорелась красная лампочка. Рефлектор ему достался с характером; хочет — греет, не хочет — не греет, сколько ни разбирай его, всякий раз обнаружишь лишние детали, после изъятия которых механизм срывает, а потом, в самый ответственный момент, когда зуб на зуб не попадает и лезть в холодную тельняшку кажется страшней всего на свете, — бац, не загорается лампочка, и руки коченеют от прикосновения к рифленому железу.

«Умница!» — похвалил он красную лампочку и убрал руку под одеяло. Вскоре тепло расплзлось по темной комнате. Дядя Паша аккуратно перевесил свитер и тельняшку на ребро рефлектора, поднес к циферблату зажженную спичку. Точно. Без пяти семь. Что бы там ни было, без пяти семь как штык. Будильник дядя Паша заводит из спортивного интереса, — успеть за секунду, предваряющую пронзительный звон, нажать пальцем на кнопку. Этот ритуал был столь же необходим ему, как курение после завтрака и кружка пива перед работой.

Одевшись, дядя Паша включил свет, поставил на поднос пепельницу, бутылку из-под пива и понес его в беспризорную кухню, где еще совсем недавно царила Вера Сергеевна, старуха с сухой рукой, похожей на кроличью лапу.

«Надо съезжать», — сказал дядя Паша и ухнул подносом об стол.

«Хоть и зануда, да все живой человек, — думал он молча. — И — привык. Привычка для человека — это все. Надо, не надо, а встаю без пяти семь. А любовь — привычка? Прожил с женой сорок лет. Не стало ее — отвык.

А вот Матвеич от этой привычки так и не отвык, и в шестьдесят восемь снова женился. Да сколько перебирал: одна на молоко дула, другая — ревновала, звонила в шесть утра для проверки, третья — завела кондуит о расходах на питание...»

Дядя Паша кокнул яйцо о край сковородки, отставил свистящий чайник в сторону, вперился в глазунью. «Готово», — сообщил он шипящей чугунной сковородке и пошел к телефону.

Матвеич долго не отвечал. Вспомнив про молодую жену, дядя Паша решил дать отбой, но глухие протяжные гудки заворачивали его истосковавшийся слух.

— У телефона, — раздался сонный голос.

— Это я, — произнес дядя Паша.

— Выезжаю, — спохватился Матвеич.

— Погоди ты выезжать, — сказал дядя Паша, — тебе к одиннадцати.

— Так какого же черта будишь, — заклокотал Матвеич.

— Чтоб сказать, — ответил дядя Паша и положил трубку.

«Интеллигентный человек, а чертыхается. Чего будил, чего будил! А ни-ча-во! Подумаешь, «Война и мир»! Что-то я тебя там не приметил».

Два раза водил его Матвеич на «Войну и мир». «Вон он я, смотри!» Дядя Паша напрягал глаза, пытаясь опознать в толпе своего единственного друга, но кадр быстро промелькивал, — и потом битых два часа приходилось глазеть на сражения и балы.

«Не вышел из него Бабочкин, — размышлял дядя Паша, глядя на остывшую яичницу. — Не повезло. Не обязательно, что он артист плохой. Просто не повезло. Зато женился».

В эти последние дни, занятый перевозкой вещей Веры Сергеевны, которые с незапамятных времен считались общими, а тут вдруг стали ее личной собственностью, он лишился аппетита и хорошего настроения. Голая кухня без телевизора, без холодильника, даже без репродуктора будто бы увеличилась в размерах. В пустоте и неуюте глазунья казалась резиновой, дядя Паша давился ею и запивал каждый кусочек жидким чаем, заваренным еще при Вере Сергеевне.

Ополоснув сковородку, он набил трубку, затыкнулся.

За окном светлело. Белый пар подымался над бассейном «Москва», оживала Волхонка, у магазина напротив толпились алкаши. Такая вот Москва 1974 года...

Он долго брился в ванной перед овальным зеркалом, которое Вера Сергеевна все-таки умудрилась забыть. Оттянув кверху кончик внушительного носа, он водил опасной бритвой под бесформенной глыбой, меняющей на глазах свои очертания. Нос этот, причудливо разветвившийся, в анфас выглядел грушей, в профиль — увядшей морковкой, в три четверти — проросшей картошкой. Это был овощ — хамелеон, заводящий в тупик абитуриентов Суриковского института.

«Кому удастся справиться с моим носом, тот поступит», — обнадеживал дядя Паша студентов. За двадцать лет позирования лишь одному студенту удалось в полной мере передать характерные особенности дяди Пашиного носа, но, к сожалению, тот забыл про остальные части лица и провалился.

После «Шипра» дядя Паша долго хлопал себя по щекам и махал руками. «Ядовитый», — думал он не без приятности, влезая в китель со сверкающими, надраенными зубным порошком, пуговицами, и нахлобучивая на лысую голову картуз.

С пустым портфелем в руке, на дне которого покоились табак и курительная трубка, он шел мимо роденовского мыслителя, недавно выставленного из музея в галерею под колоннами. Задумчивый каменный сторож сидел у входа в Пушкинский музей, справа от него приветственно вздымал руки юноша Яна Штрусы. «Вернули бы скульптуры под крышу, такие шедевры портят», — переживал дядя Паша.

Войдя в институт, он козырнул дежурному и спустился в подвал, где располагался буфет и мастерская формовки.

От едкого запаха желатина, к которому дяде Паше так и не удалось привыкнуть, щекотало в ноздрях. Дядя Паша чихнул, переждал секунду, и снова раскатистый чих прокатился по длинному коридору, заставленному дипломными работами. И еще раз — «бог троицу любит». Ему почудилось, что полые гипсовые фигуры покачнулись, как от взрывной волны.

— Ох, дядя Паша, ну, дядя Паша, — прыснула молоденькая буфетчица Надя, о которой ходили слухи.

Слухами институт кишел. Особо перепадало натурщицам, позирующим на обнаженке.

Обнаженным дядя Паша, слава богу, никогда не позировал. Как пришел в институт — сразу на портрет. Одна трудность — есть у Ван Гога картина, где старый моряк сидит на стуле, сложа руки. Посади дядю Пашу в такую позу — получится картина Ван Гога. Сидеть в ней удобно, но им хочется чего-то эдакого, и они крутят дядю Пашу туда-сюда в поисках постановочных эффектов.

Надя откупорила бутылку. Та фыркнула, выплюнула из горлышка густую пену. Дядя Паша резким движением опрокинул бутылку, и из нее хлынула в стакан янтарная жидкость.

Выкурив дежурную трубку, дядя Паша миновал вахтера, прошел мимо огромного полотна, с незапамятных времен украшавшего стену рядом с кабинетом ректора, заглянул в отдел кадров, где он уже давно не расписывался о явке, а просто показывался, для приличия, ибо все знали, что дядя Паша никогда не прогуливает и не берет больничный, прошагал по узкому желтому коридору, вошел в мастерскую, взобрался на подиум.

Два подиума еще были пусты — борец и клоун любили поспать и обычно являлись ко второму часу.

— Скинь китель, а то я с твоей шеей никак не разберусь, — скомандовал Петя Шустрый.

— На что тебе моя шея, — проворчал дядя Паша и подал ему китель.

Петю Шустрого он невзлюбил с самого начала, когда тот, завалив вступительные экзамены, каким-то образом проник на первый курс. Это был здоровый мужик с редкими волосами, расчесанными на косой пробор, с толстой круглой шеей, до отказа ввинченной в плечи. В ожидании борца и клоуна ребята перекуривали в коридоре. Только один Петя Шустрый оставался в мастерской, колотил доской по глиняной болванке, сбивал форму. Клоун с причудливым извивом губ, с носом-лопатой, с подбородком, рассеченным надвое, был благодатной натурой. Да Пете не давался. «Пусть колотит», — думал дядя Паша. И не вмешивался.

В других мастерских дышалось легче, особенно на третьем курсе. Там дядя Паша чувствовал себя как рыба в воде, давал указания, поправлял, целые лекции закатывал о характере натуры, о том, что она не объект для изучения формы, а пища для творческого ума. Дядя Паша мог бы написать целый трактат, основанный на собственном опыте, но это не было его делом. Делом было — смиренно сидеть в установленной позе. И он сидел. Но у скульпторов-первокурсников он сидел напряженно, глотая невысказанные слова, обидные замечания, — словом, сидел по-рабски, а рабство дядя Паша переносил туго.

Свитер, надетый на голое тело, щекотал шею. Поверх него была натянута тельняшка. Скульпторам можно было позировать в чем угодно, но тельняшке дядя Паша изменить не смел.

Потемнело небо, высыпало снежную крупу на зеленые тополя. «Плохо, — подумал дядя Паша, оттягивая ворот серого свитера, — погода живописцам все дело нарушает. Скульпторам что со светом, что без света, а вот живописцам — нарушает».

Рефлекторы приятно подогревали ноги, выпитое пиво расслабило мышцы, и дядя Паша вздремнул. Он давно уже научился сидеть, как велено, не припадая к спинке стула, в самой неудобной позе, и дремать с открытыми глазами. Пробуждаясь от толчков — это кто-то из студентов поворачивал подиум, на скульптуре так было положено, чтобы видеть форму со всех точек, — он вздрагивал и снова погружался в сон.

— Позвольте картузец!

Дядя Паша очнулся. Это были шутки клоуна. Молодой клоун очертил в воздухе силуэт дяди Пашиного картуза, он лыбился, строил смешные рожи, и дядя Паша подумал, что клоун хорош на арене, а тут, в обычной одежде, без грима, он выглядит как-то нелепо.

— Возьмите, — отозвался дядя Паша.

Вихляющей походкой клоун взбежал за ширму, как за кулисы, натянул картуз на глаза.

— Хватит, — сказал Шустрый, — и так всегда опаздываешь.

Клоун вспрыгнул на стул и замер бездыханно.

— Не гримасничай, — разозлился Шустрый, сверяя по отвесу линию затылка.

Клоун выпучил глаза, приоткрыл рот и уставился в одну точку.

— Привет труженикам спорта!

Борец Гена с маленьким лицом и большими оттопыренными ушами поиграл перед аудиторией бицепсами. Он всегда появлялся обнаженным до пояса. Одетым дядя Паша его ни разу не видел. Это был какой-то животный человек с необъятным торсом, которому, кажется, не нужна была голова, тем более такая маленькая, без затылка, с узкими прорезями для глаз и рта.

— Выиграл у япошки, — сообщил он клоуну. — Сделал финт ушами. Намазал голову и уши детским кремом. Япошка как ухватился за уши, так и поехал. Соскользнул и поехал!

— Работать собираешься? — рявкнул Шустрый.

— Тебе-то что? Ты при деле и лепи себе. А я, пацаны, вам новый приемчик продемонстрирую.

— Перерыв, — сообщил дядя Паша, не глядя на часы.

Он спустился в подвал, взял две бутылки пива и направился к Семену-форматору. «Подождут, — решил он, — раз не могут по-людски».

Семен-форматор обрадовался дяде Паше и пиву. Он отмыл руки от гипса, сдвинул на край стола экорше, постелил газетку на стул.

— Что, дядь Паш, надоела тебе эта свистопляска со сносом? — спросил он, растирая колени.

Семен был долговязый, сутулый, оттого что целыми днями стоял внаклонку. Большие руки со вздутыми венами елозили по коленям. Семен умел все: резал дерево, камень, формовал сложнейшие композиции из одних дыр, даже сам профессор Минералов приходил к нему советоваться.

— Пока стоим. Вера Сергеевна съехала, а я — на якорь, — ответил дядя Паша, набивая трубку.

Если б не запах желатина, он бы почаще захаживал к Семену. Ему нравилось здесь, среди гипсовых торсов Венер, огромных Давидовых ног, рук, глаз, рельефов с мадоннами и младенцами. Голова умирающего раба взирала на отформованное Семеном гипсовое царство из-под прикрытых век.

— И не надоело тебе эту соску сосать, — ткнул Семен пальцем в дяди Пашины трубку, — вот я!

Семен всегда ставил себя в пример, и дядю Пашу это нисколько не коробило. Семен действительно любому мог служить примером.

— Пиво еще туда-сюда. А белое — ни-ни. И красное — ни. Зашитый, — прибавил он с гордостью. — Отправят тебя в Новогиреево, — вернулся Семен к прерванному разговору. — Забросишь работу. Так-то что! Сел в троллейбус — и тута. А покатайся в метро — и без пуговиц останешься, и без штанов. Не по силам станет.

Дядя Паша задумался. Ему не приходило в голову, что он когда-нибудь перестанет ездить до метро «Таганской», что когда-нибудь Товарищеский переулок исчезнет из его жизни вместе с этим подвалом, с кителем и картузом. Эта мысль ошеломила его, и он зашевелил губами, подыскивая слова для продолжения беседы.

— Ты чего? — спросил Семен.

Дядя Паша сглотнул слюну, выбил искуренный табак в пепельницу и вышел в коридор. «Как-нибудь приноворюсь добираться, — успокаивал себя дядя Паша, — семьдесят лет — это еще пожить можно».

Точно такое же чувство у него было в тот день, когда его списали на берег. Он брел по Потемкинской лестнице, удалялся от порта, и ему казалось, будто тяжелый занавес опустился перед самым его носом, заслонил от него причал, рубку, цветные разводы мазута, сделал его существование пустым, никчемным. Словно сияла дяде Паше, тогдашнему Павлу Аристарховичу Бурмистрову, звезда и погасла.

Долго маялся он в поисках новой жизни, а потом свела его судьба, и не где-нибудь, а в вагоне-ресторане, и не с простеньким мужичонкой, как он сначала подумал, а с самим академиком. Слово за слово, в дороге, как известно, люди только и бьют языками, дал он дяде Паше адрес института. Так, с легкой руки попутчика, дядя Паша стал натурщиком. С годами он так сжился с угольным-масляным-глиняным миром, что и не отличить было, где он сам, а где его изображение.

Выпятив грудь, дядя Паша вносил себя в здание института. Конечно, не море-океан, но и не захудалая контора. Тут даже его нос, служивший в юности предметом терзаний, нашел себе достойное применение.

«Мужчине красота ни к чему, — утешала мать, — женишься». И верно. Женился. Не весть на какой красавице, но жили хорошо. Всякий раз, возвращаясь из рейса, дядя Паша радовался: ведет себя примерно, растит мальчишек. «Да-а, — вздохнул дядя Паша о мальчиках, — вот и с нормальным носом вышли, но войне-то что? Нет, в Новогиреево не запихают, не подпишу», — решил дядя Паша.

Пожилые натурщицы — одна в украинском, другая в белорусском костюме — подхватили дядю Пашу под руки.

— Посмотри-ка на нас повнимательней, ничего не замечаешь?

Высвободившись, он для удобства обозрения отступил от них на несколько шагов, прищурился профессионально, но ничего не заметил.

— Мы сменялись, — сказали они хором. — Костюмами. Идет?

Натурщицы напоминали расписных матрешек из магазина «Русский сувенир». При нарумяненных щеках накладные ресницы делали их смешными, шутихами какими-то, и дядя Паша тяжело вздохнул, думая о женщинах, не понимающих своего возраста.

«Вот в природе, — размышлял дядя Паша, выходя в институтский двор, — все железно. Никаких фокусов. Прошло лето, осыпаются листья. Хочешь не хочешь, а летят они, устилают землю. И нет такой силы, которая подняла бы их ввысь, прилепила к голым стволам и раскрасила зеленью. Нет ее. И нечего мечтать. Так и годы. Одно тяжко — нет ребятишек, и, стало быть, нет потомства. Пересеклось во втором поколении. Об этом и грусть. Не о старости. Что старость! Разве не отранно быть дедом, ходить с внуком в зоопарк, объяснять, как из шершавого яйца вылупляются черепашки». Тут, пожалуй, дяде Паше не повезло. Но тосковать об этом, что о шестом пальце на руке.

— Здравсьте, дядь Паш, салют, дядь Паш, привет, дядь Паш!

Дядя Паша только и успевал приподнимать картуз.

— Постой вот так, — попросила его девочка с графики. — Нормально смотришься, — радовалась она, набрасывая дядю Пашу на обойной бумаге. — Ты клад, — приговаривала она, сдувая с листа угольную пыль. — Вообще говоря, ты натура для сюрреалистов. Дали бы тебе миллион отвалил, — болтала она, дуя на застывшие руки.

«Смешная, — думал дядя Паша, запрятывая левую руку в правый рукав, а правую — в левый, — сразу видно: первый курс». Он тоже изрядно продрог, однако терпеливо дожидался результата.

— Полюбуйся, — девочка показала ему набросок. — Похож, а?

— Похож, — согласился дядя Паша, — только с глазами не то. — Смотри, — он пальцами, как циркулем, замерил расстояние между глазами и приставил растопыренные пальцы к переносице. — У меня расстояние классическое — между глазами глаз помещается, а ты их прилепила к носу.

— Это не фотография, — возразила девочка, — а мое восприятие. Вот Модильяни...

— Ты меня Модильяню не стращай, — перебил ее дядя Паша, — видел я длинные шеи и глаза без зрачков. Мы с Матвейчем кино про него смотрели.

Дядя Паша отвернулся от рисунка, задрал голову к небу.

— Ой, постой так секунду, — взмолилась девочка.

— В другой раз, — ответил дядя Паша, — подмерз я.

— А мы в помещении устроимся.

Настырная попалась девочка, шла за дядей Пашей, как конвойный.

Вцепившись рукой в перила, дядя Паша переставлял тяжелые ноги со ступеньки на ступеньку. Старость была к нему благосклонна: кроме радикулита, ничем не болел, да вот тяжесть в ногах, словно в ботинки камней наложили... Стараясь ровно держаться — лопатки сведены, грудь колесом, — он вошел в мастерскую. Никого. Графиков погнали на овощебазу.

— Встань, пожалуйста, как на улице, подыми голову и смотри на небо.

Дядя Паша разглядывал потолок, разделенный полосами на длинные многоугольники, матовые плафоны, почерневшие от пыли. «Вот навязалась», — ворчал он миролюбиво, потому что такие напористые ему нравились. Уголь скрипел и крошился в ее торопливых руках, лицо с прозрачной кожей было заляпано черными пятнами.

— Все, — сообщила девочка и подала дяде Паше набросок.

Дядя Паша ахнул. Такого себя он еще не видел. Прямызна фигуры, видно, как он держится изо всех сил, не сдает позиции. Нос увядшей морковкой заезжает на край верхней губы, прозрачные стариковские глаза блуждают в небесах, на картузе примостился воробей.

— Дарю, — сказала она. — Теперь я от тебя не отстану. Давай вечером порисуем!

— Нет, — отказался дядя Паша, — я должен быть дома засветло.

— Тогда я к тебе приду.

— Конечно, — обрадовался дядя Паша, — приходи и рисуй, сколько влезет.

В буфете он лицом к лицу столкнулся с Матвеичем.

— Вот он я, вылитый, — сказал дядя Паша.

— А это воробей, — Матвеич ткнул концом палки в птичку. — Я сегодня снимаюсь. В Циолковском. Рядом с Евтушенкой.

— Ты чего-то расхромался, — заметил дядя Паша, подводя друга к пустому столу. — Бросил бы ты это кино.

Матвеич ослабил, втянул шею в плечи. Она и без того еле виднелась из ворота накрахмаленной рубашки. После женитьбы Матвеич раздался, грядя подбородков нависала над бабочкой, верхние пуговицы на черном пиджаке с блестками уже давно не застегивались на груди.

— Дядь Паш, иди к нам, — позвали его любимчики с третьего курса. — Мы на твою долю взяли.

— Гуляйте, ребята, — буркнул дядя Паша, — мы и сами с усами.

Студенты прозвали Матвеича Статистом и постоянно отпускали шпильки в его адрес. Жаловались дяде Паше, что он замучил их фотографиями массовок. «Угадайте, где тут я!» Когда угадывали, обижался: «Плох тот артист, который вез-

де играет самого себя». Когда не угадывали, упрекал: «Художники, где ваши глаза?! Невнимательные вы, а Матвейч, между прочим, Эйзенштейна видел...»

— Бросить кино? — надулся Матвейч. — Ты только взгляни — это Плисецкая с борзой, а там я стою, в саду. Потом, правда, вырезали. Это была работа! Самойлова настолько вошла в образ, что чуть под поезд не бросилась. Вот где страсть! А ты живешь бобылем...

— Женился б на Вере Сергеевне, та бы, как Самойлова, под поезд бросилась, — отшутился дядя Паша.

— Это Каренина, а не Самойлова! Эх, в любом браке есть своя изюминка. Такие разыгрывают страсти, что ой-ей-ей.

Дядя Паша открыл рот, чтобы возразить, но поперхнулся дымом. Покойная жена стояла в глазах, как мираж в пустыне. Сидит у раковины, пьет воду кружку за кружкой. Заводенела, а все жажда мучит.

— Никто и не принуждает, — донеслись до дяди Паши слова Матвейча, — нравится тебе одному — пожалуйста.

Матвейч вонзился острыми ногтями в пышную бетховенскую шевелюру, продрался сквозь седые заросли к макушке, почесал ее с каким-то кошачьим наслаждением и торжественно удалился.

«Да не нравится мне одному, не нравится!» — хотелось крикнуть дяде Паше на весь буфет.

Запахло масляной краской, зашевелились руки с толстыми щетинными кистями. Живописцы напоминали дяде Паше симфонический оркестр, где он, дядя Паша, был дирижером.

— Кто так кладет мазки?! Отлепись от мольберта, отойди подальше, прищурься. Ты ж не видишь вещь в целом!

— Дядь Паш, переходил бы на преподавательскую работу, — подтрунивали над ним студенты, — зря талант пропадает.

— Не зря. Я, знаешь, на вступительных народ за уши вытаскиваю. А то ухватятся за мой нос, и потонут. А нужно построение, построение и еще раз построение. Это вам не носики-ротики!

— Дядь Паш, голову повыше.

— Есть голову повыше. Я в эту точку над умывальником смотреть буду.

— И рот закрой.

— Есть закрыть рот.

Пока студенты трудились над его незамысловатым ртом — две полоски, загнутые дугой, — дядя Паша перебирал названия новых окраин. «Чертаново,

Бибирево... Тушино... Тушино... — это бы ничего. По прямой до Таганки. А вот с пересадкой если...» — Дядя Паша пошевелил пальцами ног, проверяя готовность ступней шлепать по переходу. Ноги гудели.

— Я так посижу, а то голова сопрела, — дядя Паша снял картуз и положил его на подиум. — А вообще-то, братцы, сносят меня...

Слова прострелили тишину, тревожным эхом отозвались в сердце.

— Дядь Паш, а чего ты не женишься? Такой моряк любое сердце покорит.

— Был моряк, да весь вышел, — буркнул дядя Паша. Он не любил, когда шутки заходили далеко.

— Вот Статисту только дай про баб поговорить, а ты сразу в бутылку.

— Зря вы так, ребята. Матвейч — интеллигентный человек. А что не получилось из него Бабочкина — не его вина. Не повезло. Пообломает вам жизнь крылья, тогда посмотрите. Сейчас вы все Модильяни, — сказал дядя Паша и тут же сообразил, что пример привел неудачный: какая у Модильяни жизнь — это он в кино видел. — А как станут годы убывать, надают вам по башкам, тогда посмотрите, кто выстоит. Не лучший, нет. Тот, кто глоткой берет. Попомните слова дяди Паши. Хоть и ходил он всем вам на потеху в картузе, да было под ним кое-что, кое-что шевелилось у него тут, — постучал он себя по лысой макушке.

— Ты чего, дядь Паш, мы тебя уважаем!

— Вот и Матвейча уважайте. Он тоже не с бабочкой на шее на свет выполз. Все. Закрыв рот. Молчу.

Да не молчалось.

— Ты бы скомпоновал сперва в уголочке. Куда руку за раму вынес! Учи тут вас...

Скрипнула дверь. Молодой преподаватель с бородкой клинышком — дядя Паша помнит его абитуриентом, — вошел в аудиторию.

— Что, дядь Паш, устал? — спросил он участливо.

— Нет. Нормально сижу.

— Плохо komponуете, — изрек преподаватель, расхаживая меж мольбертов. — Форму надо лепить. А вы увлеклись живописностью и забыли о главном. Оторвитесь от работы, подойдите сюда, к двери.

Дядя Паша победно оглядел ребят.

— Дядь Паш, не смог бы ты посидеть с трубкой? — спросил преподаватель, — оживим постановку.

Конечно, но при условии, что закурит, — не младенец он, чтобы с пустышкой во рту сидеть.

«Оживленная постановка» задремала, трубка вывалилась из впалого рта, на отутюженных брюках серебрился просыпанный пепел. У запорошенного снегом мыслителя стояла девочка. «Эй, просыпайся», повелела она каменной глыбе, и та распрямылась, стряхнула с головы снег и уставилась на набросок. «Это же мой сосед, моряк дядя Паша, — сказал мыслитель, — но, увы, его отправляют на снос», — и снова уткнулся локтями в колени. Затарахтел бульдозер, снес дом. Голые стены, как кладбищенские плиты, что-то вроде руин Кенигсберга, породистые собаки, заполонившие разрушенный город...

— Дядя Паша, не падай!

Он открыл глаза, сел правильно, как на рисунке, стряхнул пепел с колен.

— Простите, ребята, мне надо отлучиться.

Умывшись в туалете ледяной водой, он выпятил грудь и уже бодрячком шел по коридору. Борец Гена валил студентов на лопатки, сновали молодые натурщицы в нейлоновых халатах, прогуливались пожилые расписные матрешки.

— Ты все? — окликнула его девочка.

— Нет, еще целый час сидеть.

— Давай сбегим, — предложила она, — хватит с них.

— Порядок есть порядок, — возразил дядя Паша.

Отсидев последний час, дядя Паша завернул рисунок в газету, положил его в портфель, накинул китель на плечи и вышел в институтский двор.

Девочка ждала его на лавке.

— Яна, — представилась она и вложила узкую ладонь в дяди Пашины лапищу.

Они брели медленно по Товарищескому переулку. Дядя Паша ссутулился, выбрал шею в ворот кителя.

— Зря ты меня позвал, — сказала Яна, — я ведь такая — кто позовет, с тем и иду. Мне все интересно: какой у тебя дом, какая комната, что из окна видно.

Дядя Паша молча кивал. Он думал, что есть у всякого человека предел, а уж у старика он совсем крохотный. От силы час он живет, а потом погружается в спячку и никому его не пробудить.

— Вот что, — решил он, — зайдем в музей. Там буфет есть. Кофе выпьем.

Они обогнули музей, зашли с запасного входа. Пропустив Яну вперед, дядя Паша козырнул знакомому милиционеру.

— Здоров, дядь Паш! — поприветствовал его гардеробщик в зеленой униформе. — Давненько не захаживал.

— Некогда было. Веру Сергеевну перевозил, теперь сижу как на иголках.

— Ничего, скоро снесут, — утешил гардеробщик, принимая из дяди Пашиных рук китель и красненькое пальтишко. — На один? — подмигнул он лукаво.

— На один, — небрежно бросил дядя Паша.

— Хватит фасонить! — дядя Паша отстранил Яну от зеркала.

«Симпатичная, — подумал он, глядя на густые мелкие кудряшки, на прямой нос, покрасневший от холода, на прозрачную кожу, на серые глубокие глаза, существующие как бы отдельно от лица. — И врет она, что все ее интересует. Небось, одни лямуры-тужуры в голове».

Буфет, продолговатый, как вагон-ресторан, пах кофе и горячими сосисками. Дядя Паша тяжело опустился на стул, подпер ладонями щеки. «А ведь я голоден, — сообразил он, — с голоду и сник».

Дядя Паша наседа на сосиски, густо мазал хлеб горчицей, после каждого куска махал ладонью перед открытым ртом, запивал горячим кофе.

— Хорошо, — вздохнул он, привалившись к спинке стула. Но тотчас встрепнулся и принял позу. После работы он еще долго не мог отделаться от ощущения, что позировает.

— Ты чего, дядь Паш, я же не рисую, так просто смотрю.

Яна закурила, надулась дымом, как запасливый барсук. Быстрые серые глаза пробежались по пустым столикам, остановились на буфетнице, словно фиксируя ее неподвижную позу, и вернулись к дяде Паше.

— Так и чешутся руки тебя нарисовать, — призналась она.

— Ну и рисуй, — согласился дядя Паша, — только я так буду сидеть.

Яна рисовала, сбрасывая готовые рисунки на пол.

«Талант, — размышлял дядя Паша, — набрали полный институт, а талантов — раз-два. А уж кто будет художником — то неизвестно».

Он поднимал с пола наброски, вглядывался в уверенные линии, набирающие силу, сходящие на нет. «Все точно, такой он и есть — дядя Паша, моряк об стенку бряк — старый тоскливый житель молодого мира».

— Ты отдохни, а я пробегусь по залам, хорошо?

— А с тобой, можно? — вызвался дядя Паша, вдруг испугавшись разлуки. «Ничего, — успокоил он себя, — попрошусь на графику. Никогда ни о чем не просил и имею право».

Яна подвела дядю Пашу к картине в громоздком деревянном окладе, что-то вроде окна, поделенного посередине, с одной стороны — женоподобный ангел, с другой — прекрасная дама.

— Знаешь, чье это?

Дядя Паша понурил голову.

— «Благовещенье» Боттичелли! Ты в музей только кофе ходишь пить?

— Да. Кофе тут хороший, недорогой. И сосиски свежие.

— Ладно, дядь Паш, прости. Ты ж не студент, чего я привязалась? Вот ты только подумай, сколько веков художники пользовались евангельскими темами и как-то ухитрялись не подражать друг другу. А сейчас, что ни покажешь, избитая тема, избитая тема. А вот, — Яна подтащила дядю Пашу к маленькой картине, с которой безмятежно взирала прямая, как конус, дама в сером. — Это Терборх. Всмотрись в эти серые тона... И какой покой. А ближе к середине девятнадцатого века начинается тревога разбирать. Отчего это?

Дядя Паша пожал ватными плечами.

— Может, оттого, что все распалось, нарушилась цельная картина мира, а другой, взамен, не нашлось? И оттого размах огромный — холсты на всю стену, а результат один — тоска и тревога.

— Ты не волнуйся, — дядя Паша осторожно положил руку на пушистое плечо. — Делай как душа велит. Чего на них смотреть...

— Так мы же сегодня живем! — не унималась Яна, а дяде Паше было тепло и радостно, что она рядом, что тербит его чудными вопросами. «Какой мир — целый или крошечный», — думал дядя Паша просто так, не собираясь искать ответа.

— Эти ноги мне знакомы, — важно сообщил он Яне, — у Семена-форматора такие на подоконнике стоят, и губы есть отдельно, и глаза.

— Это Давид, — засмеялась Яна. — Я его стараюсь обходить. Очень уж большой.

— Чего-то ты перед величиной пасуешь, — заметил дядя Паша, — и картинки выбираешь маленькие, и Давида боишься. Потому что сама не выросла. Вон какая кроха!

Солнце светило в длинные окна, отбрасывало блики на «Поцелуй» Родена и «Обнаженную» Майоля. Дядя паша обратил внимание на старушек-иностранок в светлых брюках, а Яна — на парня в дырявых джинсах, изрисованных иероглифами и цветочками. Она прыснула, и дядя Паша подхихикнул, для компании.

— Посмотрел бы на себя со стороны, — сказала Яна, — тоже бы посмеялся.

Дядя Паша опустил голову, оглядел свитер, штопка была только на локтях и обшлагах и совсем незаметная, теми же нитками; брюки как брюки, со стрелочками, дядя Паша кладет их перед сном под матрац, и утром они как отутюженные. Ничего смешного не видел он в своей одежде, а уж лицо — какое есть, оригинальное, во всяком случае.

— Да не то, — сказала Яна, — грудь уж очень выпячиваешь, как орденосец.

— Орден у меня целый ящик, — похвастался дядя Паша, — приедем домой — покажу.

Окна дома смотрели на Волхонку, а вход был со двора. Дядя Паша толкнул от себя тяжелую железную дверь, спустился по ступенькам и включил свет.

— Может, я как-нибудь в следующий раз, — сказала Яна, — дорогу теперь знаю.

— Как хочешь, — ответил дядя Паша, вешая китель на гвоздь. — Нас скоро снесут, но ты как хочешь.

— Ладно, — согласилась она, выковыривая большие красные пуговицы из ту-гих петель.

«Пигалица, — подумал дядя Паша, разглядывая помпон на вязаной шапочке, надвинутой на брови. Светлые кудряшки выбивались из-под крупной вязки, вились вдоль щек. Серые глаза сонно блуждали по стенам. — Устала, — подумал дядя Паша, — много ли ей надо».

— Где ж ты живешь? — спросил дядя Паша, — небось, на чертовых куличках?

— Нет, в общежитии на Трифоновке.

— Вот как, — задумался дядя Паша.

— А что, поселишь у себя? — спросила Яна с вызовом.

— Конечно. Хоть сейчас приноси вещи. Потом вместе и переедем, вместе в институт будем ездить. Ухаживать за мной не надо. Дядя Паша сам и стирает, и убирает, и макароны по-флотски соорудит такие, что пальчики оближешь... — говорил он, глядя на Яну — не шутит ли, не передумает.

Стемнело. Луч прожектора выхватил из сумерек силуэт роденовского мыслителя, осветил милиционера, курсирующего между мыслителем и юношей Яна Штрысы. Прогулочная дорожка вокруг бассейна «Москва» искрилась под фонарями, сам же бассейн потух, превратившись в зияющую дыру. «Когда-то тут стоял храм Христа Спасителя», — хотел сказать Яне дядя Паша, да не успел.

— Дядь Паш, — протянула она ему руку на прощание. — Я на завтра настроилась. Только не передумай!

— Что ты, — только и смог выдавить он из себя, глядя, как Яна спускается в подземный переход, как исчезают из виду ее тонкие ноги в сапожках, пальто, плечи, разноцветный помпон...

— Лямуры-тужуры, — бормотал дядя Паша, приближаясь к магазину.

— Эй, моряк, ты слишком долго плавал, на троих давай сообразим, — пропел знакомый алкаш.

Дядя Паша помялся и подал ему полтинник.

— Небогато, — сказал алкаш, — грошовое пойло портит цвета лица.

«Возьму ордер, и баста», — думал дядя Паша, глядя в черные окна своего дома.

Вернувшись, он заел грошовое пойло черным хлебом и заглянул в комнату Веры Сергеевны. Не поселить ли здесь Яну? Пустая, без тюлевых занавесок, без статуэток, без швейной машины, голая и чисто вымытая непонятно зачем — дом на снос, — комната эта словно уже не допускала никого в свое лоно, и дядя Паша вернулся на кухню. Чтобы как-то заглушить волнение, он уткнулся в газету, изучил программу телевидения на всю неделю, подчеркнул ногтем интересные передачи. «Надо будет нам телевизор купить».

Спал он тревожно. Впервые за много лет его разбудил протяжный звонок. Дядя Паша не успел нажать на кнопку. «Старый дурак, — ругал он себя, разглядывая мятые брюки, которые он забыл положить под матрац, — старый дурак!»

Войдя в институт, он успокоился. Выпил пива, поболтал с Семеном-форматором, похвастал, что ходил в музей и видел точно такие ноги, губы и глаза, терпеливо пересмотрел новые фотографии Матвеича, переделался за ширмой, взобрался на подиум. Время тянулось медленно, усидеть на месте было трудно.

В перерыв дядя Паша пошел к графикам, тихонько приоткрыл дверь. Яна стояла у мольберта, недовольно прикусив верхнюю губу. «Что-то не ладится», — пожалел ее дядя Паша и прикрыл дверь.

Матвеич его не одобрил.

— Не доведет тебя эта затея до добра. Надо ровню выбирать, а-то, ишь, замахнулся.

— Ты что, Матвеич, я же ей в деды гожусь!

Матвеич качал головой, мотал подбородками.

— Посмотри на себя! Глаза красные, губы трясутся. Поживет она у тебя — совсем поедешь.

Яна приехала вечером. В сопровождении бородатого парня. Один его черный глаз горел диким огнем, другой был темен, как потухшее окно.

— Знакомься, дядь Паш, — сказала Яна, — Мирза.

— Вы за ней смотрите, — велел дяде Паше Мирза, — она у нас такая.

— Какая? — вскинулась на него Яна.

— Сама знаешь, — блеснул Мирза черным глазом.

— Иди, — велела ему Яна, — как-нибудь без тебя разберемся. — Убрался, наконец, — сказала она, раскладывая на столе краски, кисти, коробочки с углем и сангиной. — Давит на психику. Говорила же — сама дотащусь, но он упрямый,

как не знаю что. Больше не придет, — пообещала Яна, хотя дядя Паша ничего против него не имел.

«Молодые, — думал дядя Паша, — сам такой был».

— Давай чай пить, — сказала Яна, — я булочек навезла и конфитюр клубничный. Старики это любят. Мой дед, кстати, жуткий сладкоежка. Такую банку может за день усидеть.

— Он у тебя непьющий? — спросил дядя Паша, поглядывая в окно на светящийся магазин.

— По праздникам может и напиться. Особенно на Лиго. На Лиго он всегда напивается и уходит на берег. Спать может и через костер перепрыгнуть. А так он чинный, типичный старый латыш.

Дядя Паша позавидовал. Он сам мечтал жить у моря, но как-то не сложилось.

— Он случайно не моряк у тебя? — спросил дядя Паша.

— Нет. Исключительно сухопутный. И ни за что не хотел меня в Москву отпустить. Считает, что я вертушка и обязательно что-нибудь натворю. И он, конечно, прав. Я обязательно что-нибудь натворю. В этом общежитии так противно. Оно же у нас совместно с ГИТИСом. Эти актрисочки — ты бы на них посмотрел! Припрутся к нашим ребятам и требуют, чтобы они их рисовали в чем мать родила. А рисовать там нечего — одна косметика и глупость. Вымыться толком негде. Кстати, а у тебя есть душ? — спросила она, забыв про обещанное чаепитие с вареньем. — Душ — это спасение. Дома я его по вечерам принимала, чтоб спать. У меня сон ужасный. По десять раз просыпаюсь. Потому что впечатлительная. Дед у меня такой славный! Представь бульдога в очках, доброго бульдога... Вот, посмотри, — Яна вытащила из папки рисунок и подала дяде Паше.

«Бульдог в очках», — хмыкнул он и вернул рисунок.

— Похож обалденно. А это мама. Она такая прозрачная, ее хорошо мелом на черной доске рисовать. Я своих домашних измучила. Как завидят меня с бумагой, бросаются врассыпную. Природу и дома я не очень. Люди — вот моя страсть. Я, как тебя увидела, обалдела. Почему ты мне на вступительных не попался? Я бы тебя разделала под орех. Глаза у меня завидующие, ко всему липнут, и руки зудят. Но как начнешь потом пересматривать... И бессонница обеспечена. Да еще Мирза! Правда, он страшный? Я его боюсь. Такое счастье, что я избавилась от него. Благодаря тебе хоть после института от него отдохну. Куда я, туда он. В буфете накупит шоколаду и апельсинов — так неловко. Я говорю, давай всех угощать. А он говорит, ничего, дядя Паша со Статистом доедят.

— Что? — при упоминании своего имени дядя Паша вздрогнул, очнулся.

— Ну вот, — надулась Яна, — я тебе исповедуюсь, а ты носом клюешь.

— Спать хочу, — признался дядя Паша, поеживаясь от холода.

— Ну и спи.

Яна сгребла наброски в кучу, задвинула их ногой под стол.

— Ничего у меня не получается, — пожаловалась она, — зашиваюсь с обнаженной. Она такая прости господи, даже на перемене халат не надевает. Разгуливает по мастерской голая. А у нее, между прочим, ребенок есть. Противно даже рисовать. Не могу я смотреть на натуру объективно. Мне важно, что это за человек. Вот ты, например, как человек мне страшно интересен. Столько чувств возникает, когда на тебя смотришь. А от нее — пустота. Хотя пустоте тоже можно найти выражение. Из нее хочется сделать карикатуру, а надо — ака-де-ми-чес-кий рисунок. Завалюсь на просмотре, шеф и так меня шпыняет — манеру, говорит, бросать надо. Научись, тогда и будешь манерничать. А где у меня манера, дядя Паш?

— Они на то к вам и приставлены, чтоб поучать, а вы на то и художники, чтобы не слушаться, — сказал дядя Паша и ушел в свою комнату. Нашел в шкафу пижаму, подарок Веры Сергеевны. Он ее ни разу не надевал, спал по-морскому — в трусах и майке.

— Ой, ты как арестант! — воскликнула Яна, увидев дядю Пашу в полосатой пижаме.

— Это подарок соседки Веры Сергеевны, которая недавно съехала из той комнаты, где ты будешь спать.

— Понятно, — сказала Яна, — потягиваясь. — Значит, дама с изысканным вкусом съехала?

Дядя Паша зевнул.

— Ты как мой дед. Вечером зевает, зато встает с петухами. Я — наоборот: ночью не могу уснуть, а утром меня не подымешь. Ты не стесняйся, трясни меня как следует, а то на первый час опоздаю. А первый час — обнаженка. Такое зло на эту дуру берет. Вот Аделина-балерина — это натура. Она сначала, как к нам пришла, ни за что не хотела раздеваться. Плакала за ширмой. Так ее было жалко. Представляешь, туфли скинет, переступит через сброшенную юбку, — и все. Потом ребята вышли, а мы, девчонки, зашли за ширму, уговариваем ее, что мы типа врачей и нас никто не стесняется. Разделась она, дрожит, аж зубы стучат. Все, спи, — смилостивилась она над дядей Пашей и отправилась в душ.

Свитер так и остался комком валяться на стуле. Дядя Паша сложил это пушистое тепло рукав к рукаву. «Живая, — думал дядя Паша, — все у нее живое, даже одежда дышит».

Лежа в постели, он слушал ее шаги. «Вышла из ванной, бродит по чужой комнате, свыкается. — Только привыкнет, и надо будет съезжать. А на высылки она точно уж не согласится».

Огромная звезда висела на фрамуге, луч прожектора проник в окно, прочертил яркую полосу над газовой плитой.

Среди ночи он пробудился от какого-то шороха. Встал, заглянул в комнату Веры Сергеевны. Яна спала, свернувшись в клубок, одеяло валялось на полу. Дядя Паша поднял его и осторожно укрыл Яну.

В окне падал крупными хлопьями снег, белые ночные бабочки кружились в лучах прожектора, как в воронке, устилали безлюдный асфальт. Какое-то странное забытое чувство поднялось к горлу, защекотало в гортани, и он вдруг с отчетливой ясностью, как недавно жену, увидел своих мальчиков, Пашу и Колю. Падают снег, а они в белых рубашках, сшитых из простыни, весело прыгают на пружинном матрасе.

«Родили бы попозже, на год-другой, миновало бы их», — думал дядя Паша, вытирая кулаком мокрую щеку.

— Ты чего, дядь Паш? — прошептала Яна. — Я не сплю, я за тобой одним глазом подглядываю. Посиди со мной, — попросила она.

Дядя Паша примостился на край кровати, прижался щекой к холодной перекладине.

— Снег идет, — сказал дядя Паша.

Яна встала на колени, посмотрела в окно.

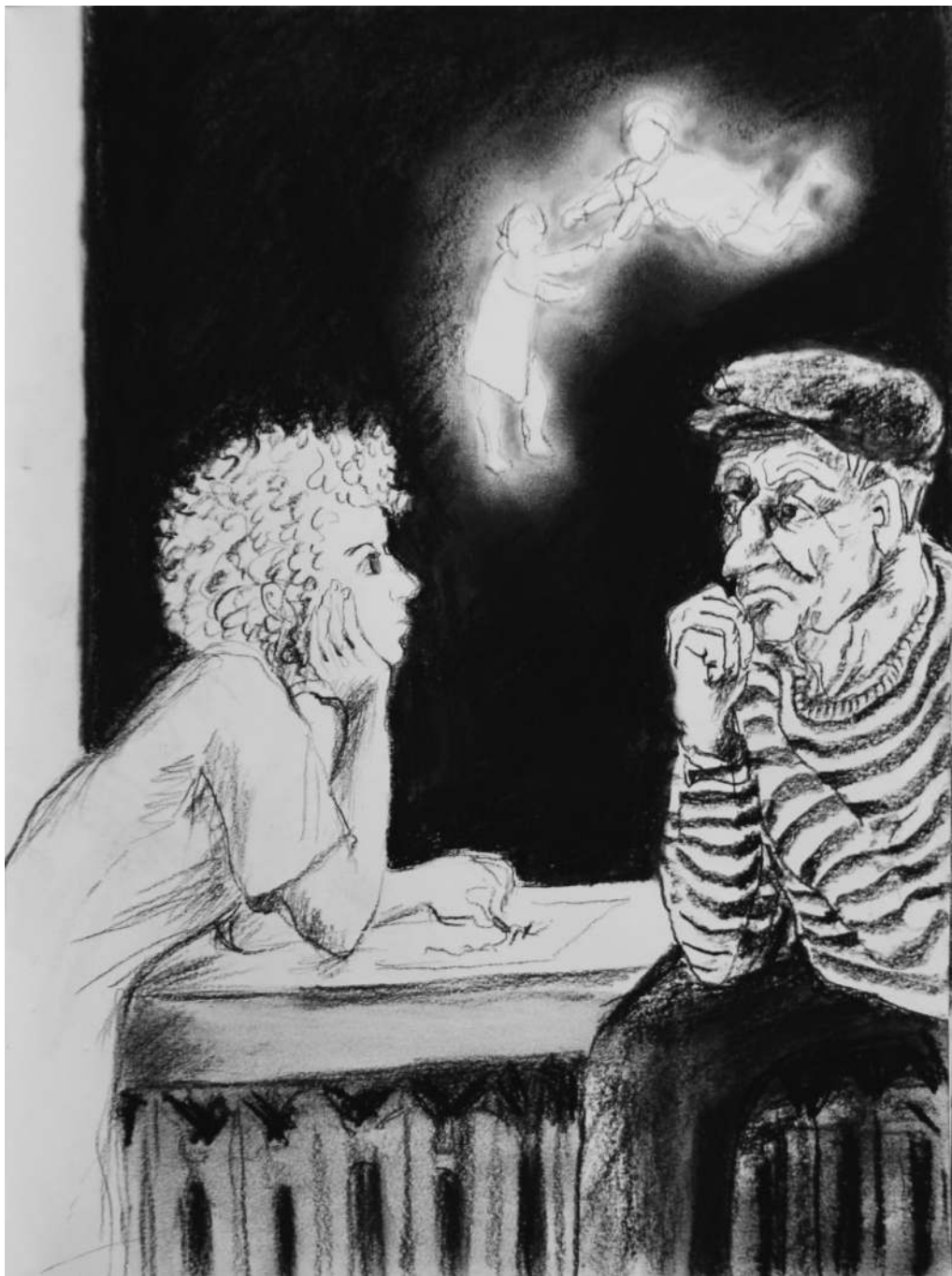
— Красиво, — зевнула она, — в окно смотреть красиво, а так я зиму не люблю. — Она дотянулась рукой до стола, нашарила бумагу и карандаш, достала фанерку из-под кровати. — Пять минут, — попросила она, — ты не представляешь, какой ты таинственный в этом освещении. — Яна села так, чтобы свет от окна падал на бумагу, прислонила фанерку к согнутым коленям. — Ты дядь Паш, грустный человек. Наверное, люди рождаются с настроением. Вот я, например, мама говорила, появилась на свет с кислой миной. И внутри у меня хандра. В жизни ничего веселого не нарисовала. Это будет ночной дядя Паша. Вот почему, скажи на милость, нельзя всю жизнь рисовать одного человека? Я бы только тебя и рисовала.

— Мои мальчики зиму очень любили, — откликнулся дядя Паша, — летом в городе какие удовольствия? А зимой — санки, снежки, у нас в этом дворе столько ребятни было! Всех смело, подчистую, даже девчонки не вернулись. Мои оба. Родились зимой, погибли зимой, как стояли.

Яна закурила. Свет от зажженной спички осветил ее темные зрачки, спутанные кудри, ложбинку над ключицами. Теперь она не болтала, рисовала молча, прикусив зубами верхнюю губу.

— На, — протянула она ему лист, — посмотри при свете.

Дядя Паша вышел в коридор, щелкнул выключателем. Он сидел в той же позе, прислонившись щекой к перекладине, только это была не перекладина, а сторона черной рамы, из которой, как из земляного рва, проросли два мальчишеских силуэта, повернутых к дяде Паше спиной. Дядя Паша впился глазами в их спины,



казалось, вот сейчас они обернутся, и он увидит их смеющиеся глаза, носы, облепленные веснушками, светлые чубчики над круглыми лбами...

Будить Яну по утрам было сущей пыткой. Дядя Паша подолгу простаивал подле кровати, любуясь ее лицом, кудрями, рассыпанными по подушке, светлым пушком над приоткрытым ртом, розоватыми детскими веками, пронизанными ниточками сосудов.

Из дому они выходили впритык, на пиво с Семеном-форматором времени не оставалось. Пришлось брать в буфете две бутылки: одну — на вечер, другую — на утро. Пока Яна варила себе кофе, который всегда прозевывала, ион проливался на плиту, — дядя Паша пил пиво и дымил трубкой.

Спать он стал плохо: то заболтаются допоздна, то придет с друзьями, и они галдят, закрывшись в комнате. В такие вечера дядя Паша сидел на кухне, прислушиваясь к шуму за стеной, и думал о Вере Сергеевне. «Как она там? Почему не дает о себе знать? Съехала — и как в другой мир переселилась. А столько лет желали друг другу спокойной ночи и приятного дня, иногда обедали вместе, телевизор смотрели».

— Дядь Паш, ну что ты скучаешь, — говорила Яна, выпроводив гостей. — На свете столько интересного. И книги, и кино. Ты же так спятишь от тоски.

— Я в твоих годах был, а ты в моих — нет, — обычно отвечал дядя Паша. — Мне развлечений не надо. Я не скучаю. Вот в окно смотрю. То же кино.

В обед Мирза сорил деньгами, угощая дядю Пашу и Матвеича всякой всячиной — антрекотами, пирожными и бананами, от которых склеивался рот.

— Не волнуйся, меня это ни к чему не обязывает, — утешала она дядю Пашу, и тот послушно кивал, глядя на горящий восточной страстью глаз Мирзы.

— За жабры берет, — говорил Матвеич дяде Паше, расстегивая пиджак после сытного обеда, — тут нужен глаз да глаз.

— Глаз уже есть, — отвечал ему дядя Паша, растирая отсиженную ногу. — Сами такими были. Лямур-тужур.

Первый просмотр совпал с новогодним вечером. С утра Яна отбирала рисунки, сердилась на дядю Пашу, которому все одинаково нравилось, а ей одинаково не нравилось.

— Бери все подряд и не трись, — уговаривал дядя Паша.

— Хочешь, чтоб я осрамилась? Хватит с меня Мирзы. И так все смеются. Да еще это платье. Говорила маме — положи зеленое.

— А ты иди в свитере, а после просмотра приедешь и переоденешься.

— Еще чего! — отозвалась она из ванной. — Сегодня я не вернусь. — Ну, полюбуйся, какое я чудело!

Яна стояла перед дядей Пашей, опустив руки по швам, глубокое декольте обнажило торчащие ключицы и выемку меж маленькими грудями, тонкий материал струился вдоль узких бедер, волнился у колен.

— Антик маре с гвоздикой!

— Смотри, — Яна положила на пол рисунок «обнаженки». — Мирза забраковал. Взялся исправлять и совсем испортил. Он так хорошо рисует, и все из головы. Я из головы ничего не могу. У него композиции — закачаешься. А мне и на композиции натура нужна. Для вдохновения.

— Старинные художники тоже не из пальца высасывали, — заметил дядя Паша, — сама же говорила, мадонну — и ту с натуры писали.

Яна нервничала, и это передалось дяде Паше. Жаря гренки, он забывал обмакивать хлеб в молоко, и они горели, заполняя дом чадом.

— Зря ты затеялся, — сказала Яна, — кофе попью, и все.

— Перед ответственным событием не мешает хорошенько поесть.

— А ты? — спросила Яна, вгрызаясь в пережаренный хлеб.

— Успею. Мне сегодня не на работу. Позвони после просмотра.

— Новый год мы с тобой тет-а-тет, без Мирзы-Мурзы, — крикнула Яна, натягивая на пороге шапку с помпоном.

Но она не позвонила. Утро Нового года дядя Паша провел в угрюмом одиночестве. Пил пиво и тупо глядел на елку без макушки, которую купил за рубль у знакомого алкаша. Как он радовался покупке! Вспоминал мальчишек. Те так и вились вокруг наряженной елки, так и норовили до времени срезать бомбошку с пушистой ветки.

Дядя Паша вынул елку из ведра с водой, опрокинул вниз обрубленной макушкой, стряс леденцы, сдул комочки ваты, но выкидывать не стал, — все же живая — водрузил на место.

Дубина стоеросовая, ругал себя он, вспоминая, как умолял вахтершу пропустить его в общежитие. Та требовала паспорт. А он не взял, предлагал в залог часы, нет, деньги, нет, — и тут появился Петя Шустрый. Заступник... Бросился к нему с распростертыми объятьями! На бицепсе краснела повязка дружинника. Он сурово

взглянул на нарушителя спокойствия, смотрел на дядю Пашу так, словно в первый раз видит. «Рижанку ищешь? Болтается по общежитию пьяная...»

«Не смей!» — дядя Паша размахнулся и — промазал.

«Звоню в милицию», — спокойно заявила дежурная.

«Не надо, — сказал дядя Паша. — Я так уйду, без шума».

Новый год дядя Паша встретил в трамвае, вдвоем с водителем и билетершей. «Ну что, граждане, переходим рубеж, — сообщила она звонким голосом, — с чем всех и поздравляю. С Новым годом, дедуля!

Дядя Паша громко поблагодарил душевную девушку. Та улыбнулась, сверкнула крупным железным зубом.

«Кто в депо, а кто в плаванье», — кивнула она на китель.

«Так точно-с, в плаванье!» — молодежато отрапортовал дядя Паша и вышел из трамвая.

Яна вернулась первого вечером. Дядя Паша осмотрел ее с головы до ног. Ничего такого! Так же прямо и подробно смотрели ее серые глаза, так же вились кудри вдоль щек, и губы были бледными, как обычно.

— Почему не позвонила? — выдавил из себя дядя Паша.

— Ой, дядь Паш, — вздохнула Яна, — правильно ты на меня сердисься. Если б ты знал, какого я сваяла дурака.

— Не знаю и знать не хочу, — сказал дядя Паша, не подымая головы от шитья.

— Твой Матвейч, оказывается, отличный актер. Он тебя в капустнике изобразил: «Сколько вас учил дядя Паша: построение, построение и еще раз построение! Кто так лепит форму!» Смеялись до упаду. Жаль, тебя не было. Ну что ты дуешься? Просто Мирза меня напоил. А в общаге, как назло, все автоматы засорились. Откуда я тебе позвоню? Я даже маме и дедушке забыла телеграмму дать...

Яна встала за его спиной, положила руки ему на плечи. Дядя Паша угрюмо молчал, его распирали обида.

— Мои ребятишки с четырех лет были приучены картошку чистить.

«Ни к сумке веревка, ни к заду чемодан!» — вспомнились слова покойной жены, но он все равно добавил то, что они и воду с колонки носили.

— Нормально, — согласилась Яна, — они же были обычные, а обычные умеют все.

Смолчать бы. Но вместо этого дядя Паша размахнулся и что есть сил ударил по столу кулаком. Отдышавшись, он подошел к окну, чтоб не смотреть на Яну. Но она отражалась в темном стекле, несчастная, перепуганная.

— Знаешь, как тебе это досталось?

— Что это?

— Да что карандаш с головой и сердцем повязан. Ткнул Бог пальцем, а тут ты стоишь. Чисто случайно. Нечем кичиться. Вот я как-то читал книгу про мальчика, который мечтал стать поэтом, а стал просто хорошим человеком. Это потрудней, чем стать поэтом, — рассуждал дядя Паша, глядя на снег. — Ты вот говорила, что мир распался. А мир никуда не распался. Вон он: снег идет, дворник метет, за углом человека бьют. Такой этот мир. А что ты его изобразишь, ни дереву не нужно, ни снегу, ни вот этому фонарному столбу. Тебе — да. Но если ты за день ничьих слез не осушил, кому ты нужен, самый расталантливый!

Куда-то делось отражение, ни растерянных глаз, ни кудряшек? В глотке у дяди Паши пересохло, он с тоской взирал на заснеженную очередь у «Пива — вод». Ему вдруг захотелось напиться, как в молодости, забыть все на свете и уснуть.

— Ладно, — махнул рукой дядя Паша и обернулся.

Яны не было. Он вышел в коридор. Входная дверь была приоткрыта. На гвозде, как большая рыба с крючком в зубах, висел китель, как два одиноких корабля стояли на причале ботинки. Дядя Паша влез в них, набросил китель на плечи и поспешил к метро, надеясь догнать Яну. Под землей гудели поезда, торопились с работы люди, отпихивали дядю Пашу авоськами.

«Ничего, — утешал себя дядя Паша, — никуда она не денется. Подумаешь, обидел! Надо же как-то воспитывать, раз у себя поселил!».

Возвращаясь, дядя Паша заметил в своем окне свет. Стараясь не скрежетать входной дверью, он приподнял ее на себя, отодвинул ровно настолько, чтобы протиснуть в расщелину тело, на цыпочках спустился по ступенькам. Заглянул в комнату Веры Сергеевны — никого, в свою — никого.

«Придет, — думал дядя Паша, откупоривая пиво, — или завтра в институте встречу. Но завтра-то воскресенье, а там — сессия, каникулы. Все».

Ошеломленный внезапным открытием, он бросился к телефону.

— Что, улетела птичка? — с ходу спросил Матвеич.

— Откуда ты знаешь?

— Ты ж мне за целый месяц ни разу не позвонил, пришлось будильник купить. А раз звонишь, — значит, улетела. Вот тебе и рекбус, вот тебе и крокswорд — скопировал он Райкина и первый рассмеялся.

«Сострит и сам же смеется, Бабочкин так бы не сделал», — подумал дядя Паша.

— Не унывай, — сказал Матвеич, — и не унижайся. Знай себе цену.

— Значит теперь мы с тобой свободные аж до конца каникул? — справился дядя Паша.

— Это ты до конца каникул, а я все, — аревуар, довидзенья, до запрошеня. Завязываю.

— Неужели роль дают? — разволновался дядя Паша.

— Куда как догадлив наш старый моряк... Но это еще не точно. И пока секрет. Встретимся, покажу пробные снимки. Твой покорный слуга играет в тройке: жилет, пиджак с иголки, бабочка...

— Пусть будет точно, — пожелал он другу от всей души. — Только ты вот что, когда шутишь, первым не смейся. — Я верю в твой талант, — подсластил дядя Паша пилюлю, и у него мелькнула мысль отправиться в гости к Матвейчу. Но стоило повесить трубку, желание отступило. «Уйду, а она вернется. Лучше уж ждать на месте».

Дядя Паша включил свет в комнате Веры Сергеевны, откинул матрац, сел на железный край. Пушистый свитер клубком свернулся на стуле, а сам дядя Паша валялся на полу в разных видах. Дядя Паша ночной, с мальчиками, дядя Паша — портняжка, дядя Паша — повар, дядя Паша — на корме. А говорит — не получается без натуры. Пририсовала же корму и птичку тогда из головы выдумала. Дядя Паша вылил остатки пива в стакан, поднес его к нарисованному носу.

— Со свиданьцем, — пробормотал он, размазывая угольный нос краем стакана.

«Как же я так! Рисунок-то не закреплен». Дядя Паша промокнул уголь кончиком носового платка, получилось пятно. Он взял из коробочки черный огрызок, замазал, но стало еще заметней. «Медведь, — ругал себя дядя Паша, ползая по полу, выгребая рисунки из-под кровати и складывая их ровненько, уголок к уголку. — За столько лет линии не научился провести. А она прикоснется к бумаге — и все. Как это у нее получается?»

«Матвейч», — почему-то вдруг обрадовался дядя Паша, извлекая круглое лицо друга из-под этажерки. Нежная живая бабочка тонкими лапками зацепилась за дряблую кожу. «Вот ведь ввернула, пигалица, — удивлялся дядя Паша, — что-нибудь да сделает по-своему. А это кто? — задумался дядя Паша. — Да это ж Гена-борец!» Пустое лицо в натуральную величину, а вместо оттопыренных ушей — две большие улитки с рожками. А это кто? На прозрачной желтой бумаге росчерком фломастера был сделан рисунок обнаженной фигуры, повернутой боком, так, что лица не видно. Зад был жирно обведен черным карандашом. «Не любит она ее, — вспомнил дядя Паша рассказ о натурщице, — и не получается. А меня любит». Дядя Паша осторожно прикоснулся указательным пальцем к угольным рисункам, проверяя, зафиксированы они или нет. Нет, уголь живой, пачкал палец. Дядя Паша вынул из ящика стола подаренный Яной рисунок и прикнутил его к стене.

Пива не осталось, и времени до сна полно. Зазывно светился магазин напротив. Дядя Паша наскреб рубль мелочью, вышел из дому, оставив свет во всех комнатах.

Двери соседних подъездов были занесены снегом, его давно не убирали, и дядя Паша с трудом выбрался на дорогу. Его знобило, он сжался под тяжелым кителем, вобрал голову в плечи.

С виноватой улыбкой он разжал ладонь, в которой были зажаты медяшки, продавщица отсчитала рубль и выдала бутылку «Совиньона».

— Занесешь две копейки по пути в институт. Ты там меня не пристроишь? Надоело здесь, в печенках все сидит. Там хоть народ культурный. Не обижают тебя?

— Что ты! — махнул рукой дядя Паша. — Подарки еще дарят. Вот, — дядя Паша расстегнул китель, — новую тельняшку подарили, уважают. Даже преподаватели советуются, как постановку оживить.

— Замолви за меня словечко, — сказала продавщица, скрываясь за дверью.

«Заберет вещи, и все. А весной снесут дом, кто в такую пору ломает», — думал дядя Паша, стоя у витой ограды Пушкинского музея и желая спокойной ночи мыслителю с шапкой снега на угрюмой голове и юноше Яна Штрусы.

Вино оказалось отравой, даром что дешевое. Дядя Паша вылил его в кастрюлю, всыпал сахара и корицы. Он стоял над кастрюлей, боясь, что прозевает и вино закипит, брызнет через край. Потом он заливал в себя обжигающий напиток и думал, что все это не зря, не бесполезно, что многие, конечно, не справлялись с его натурой, но кое-кому пошло на пользу. «Учились, — думал дядя Паша, понимая, что научиться этому нельзя. Есть талант — все, а нет — учишься не учишься, вот как Шустрый, — все равно ничего не выйдет... Небось к Мирзе побежала жаловаться, слова ей не скажи».

Дядю Пашу сморило. «Ну еще полчасика подожду», — уговаривал он себя, наваливаясь грудью на стол.

Под ярким солнцем сияли стройные белые суда у причала. Дядя Паша в ослепительно белом кителе стоял на высоком мостике буксира «Уверенный».

— Павла Аристарховича Бурмистрова — к старпому, — раздался торжественный голос.

«Какая высота!» — подумал дядя Паша и открыл глаза. Одинокая явь таранилась на него, и он быстро смежил веки, догоняя упущенный солнечный сон. Но вместо него появился пьяный Модильяни. Он ходил между столиками небольшого задымленного кафе. «Купите рисунки, недорого!» — кажется, это был кадр из фильма, на который его водил Матвеич. «Почему они все такие несчастные? — размышлял дядя Паша сквозь дрему. — И эта тоже. Пигалица, а сон нарушен. Это все глаза виноваты. Гипсовые глаза Давида. Столько всего нарисовано, наклепано, а они все рисуют. Оставляют о себе память. И я останусь... Кто это та-

кой, спросят. Кто, кто? Моряк дядя Паша — известная личность. Розовый период Яны Бельской. С этой моделью у художницы были сложные отношения. Как-то раз они повздорили...»

Матвеич пережил дядю Пашу. После развода он поселился в пансионате для престарелых. Там ему наконец удалось войти в образ великого актера. На завтрак, обед и ужин он являлся в тройке и при бабочке. Покручивая трость в пальцах, он неспешно, с достоинством рассказывал собеседникам о своей трудной кинематографической судьбе, о превратностях профессии, об известных актерах, работавших с ним в «Войне и мире».

В хорошую погоду, прогуливаясь по берегу канала в окружении дам, Матвеич изображал живые картины. Его коронным номером был дядя Паша, натурщик, человек редкой профессии.

Он надвигал шляпу на затылок, выкатывал грудь и произносил: «Лямур-ту-жур, антик-марэ с гвоздикой! Отойдите от природы, дальше, дальше... — Матвеич производил рукой резкий отшвыривающий жест, и старушки расступались. — Как вас учил дядя Паша?! Форму надо брать целиком!»

Удовлетворенный сделанным впечатлением, Матвеич усаживался на лавку, доставал из воображаемого портфеля воображаемую трубку, набивал ее воображаемым табаком, подносил ко рту и громко, с присвистом, затягивался.

«Браво, великолепно!» — хлопали старушки, и Матвеич театрально ронял голову на грудь. Так, бывало, невзначай задремывал дядя Паша на поворотном круге, и из трубки на отутюженные брюки просыпался табак.